

Рэй Брэдбери Улыбка

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело и он начал таять. Вдоль дороги по двое, по трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притоптывал на месте и дул на свои красные, в цыпках руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

— Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал человек за его спиной.

— Это мое место, я тут очередь занял, — ответил мальчик.

— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

— Оставь в покое парня, — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

— Я же пошутил. — Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. — Просто подумал, чудно это — ребенок, такая рань, а он не спит.

— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его фамилия была Григсби. — Тебя как звать-то, малец?

— Том.

— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку — верно, Том?

— Точно!

Смех покатился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. — Говорят, она *улыбается*, — сказал мальчик.

— Ага, улыбается, — ответил Григсби.

— Говорят, она сделана из краски и холста.

— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая, — я слышал — была на доске нарисована, в незапамятные времена.

— Говорят, ей четыреста лет.

— Если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

— Две тысячи шестьдесят первый!

— Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почему мы можем знать?

Сколько времени одна сплошная катавасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь по холодным камням мостовой.

— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.

— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четырех латунных столбиках бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

— Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

— А зачем мы все тут собрались? — спросил, подумав, Том. — Почему мы должны плевать?

Григсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.

— Э, Том, причин уйма. — Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. — Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города — груды развалин, дороги от бомбежек — словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?

— Да, сэр, конечно.

— То-то и оно... Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.

— А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? — сказал Том.

— Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом! Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами — новые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том. наших праздников...

Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливицы могли по одному разу долбануть машину кувалдой!..

— Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я разбил переднее стекло — стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был, прелесть! Тррах!

Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.

— А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, — продолжал вспоминать Григсби, — было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов — и взорвали их вместе! Представляешь себе, Том?

Том подумал.

— Ага.

Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.

— Сэр, это больше никогда не вернется?

— Что — цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне!

— А вот я готов ее терпеть, — сказал один из очереди.

— Не все, конечно, но были в ней свои хорошие стороны...

— Чего зря болтать-то! — крикнул Григсби. — Все равно впустую.

— Э, — упорствовал один из очереди, — не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.

— Не будет этого, — сказал Григсби.

— А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам — нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.

— Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!

— Почему же? Может, на этот раз все будет иначе.

Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Том, Григсби и все остальные, копя слону, подвигались вперед — шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.

— Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай!

По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских — четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.

— Это для того, — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!

Том замер перед картиной, глядя на нее.

— Ну, плюй же!

У мальчишки пересохло во рту.

— Том, давай! Живее!

— Но, — медленно произнес Том, — она же красивая!

— Ладно, я плюну за тебя!

Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.

— Она красивая, — повторил он.

— Иди уж, пока полиция...

— Внимание!

Очередь притихла. Только что они бранили Тома — стал, как пень! — а теперь все повернулись к верховому.

— Как ее звать, сэр? — тихо спросил Том.

— Картину-то? Кажется, *«Мона Лиза»*... Точно: *«Мона Лиза»*.

— Слушайте объявление, — сказал верховой. — Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении...

Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста...

Полицейские бросились наутек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.

— Эй, Том, что же ты! — крикнул Григсби.

Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.

На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит — спит мать, отец, брат.

Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.

— Том? — раздался во мраке голос матери.

— Да.

— Где ты болтался? — рявкнул отец. — Погоди, вот я тебе утром всыплю...

Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.

— Ложись! — негромко прикрикнула на него мать. Еще пинок.

Том дышал уже ровнее. Кругом царил тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.

Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь в ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста.

Мир спал, освещенный луной.

А на его ладони лежала Улыбка. Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про себя, снова и снова: «Улыбка, чудесная улыбка...»

Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним — Улыбка. Ласковая, добрая, она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

1. Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан, и развевался воротник серой шинели. – Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетающий клубами из ноздрей бегуна, обдал его лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «задавил, задавил», извозчики погнались за нарушителем порядка, – но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

2. Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу; – об раздавленном чиновнике не было и помину... Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность – к несчастью, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века, – если это не плеоназм. – Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться, и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, – и в свете утверждали, что язык его зол и опасен... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: – свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности... толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то...

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было 23 года, – и что у родителей его было 3 тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, – последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! – виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, 16-летней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе, с помощью божией и хорошенького личика и блестящего воспитания.

3. На балах Печорин с своею невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален – или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки, – а с этими-то именно он никогда не знакомился... У него прежде было занятие – сатира, – стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, – и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; – но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала и во всё горло; – Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад – она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; – и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!

4. Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конноартиллерийским офицером. – Он велел подать чаю и сел с ними подле стола; народу было много всякого; за тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. – Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою; большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждого; одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостию красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились; по медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушая разговора офицеров, которые шутили, смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим стали говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор. Печорин à propos[\*] рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта, и умчался от погони... Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; – кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся – молчание продолжалось с минуту.

5.

Милостивый государь! – отвечал он задыхаясь, – вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! – а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? – Я беден! – да, я беден! хожу пешком – конечно, после этого я не человек. Я же только дворянин! – А! вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как и буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и наконец сказал:

– Ваши рассуждения немножко длинны – назначьте час – и разойдемтесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев: – и точно, некоторые из них, спавшие на барских салопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы...

– Какое дело мне до них! – пускай весь мир меня слушает!..

– Я не этого мнения... Если угодно завтра в восемь часов утра я вас жду с секундантом.

Печорин сказал свой адрес...

– Драться! я вас понимаю! – насмерть драться!.. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. Нет, я б желал, что вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет!.. тут успех слишком неверен...

– В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать, – возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти.

6. – Нет, постойте, – сказал чиновник, придя несколько в себя, – и выслушайте меня!.. Вы думаете, что я трус? как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов? Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет... я беден, так беден, что хожу в стулья; я не могу раз в год бросить 5 рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без друзей, без родных – у меня одна мать, старушка... я всё для нее: я ее провидение и подпора. Она для меня: и дружба и семейство; с тех пор, как живу, я еще никого не любил кроме ее: – потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду...

Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...

– И вы думали, что я с вами буду драться?..

– Чего ж, наконец, вы от меня хотите? – сказал Печорин нетерпеливо.

– Я хотел вас заставить раскаяться.

– Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

– А разве задавить человека ничего – шутка – потеха?

– Я вам обещаюсь высечь моего кучера...

– О, вы меня выведете из терпения!..

– Что ж? мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал и наконец он воскликнул:

«Нет, не могу, не погублю ее!..» – и убежал.

7. Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление сковало их уста, наконец Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом:

– Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы г. Красинский, иначе бы я не имел счастья встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись – не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю.

8. Вероятно он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю, какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы.